

Рядовой Ципруш получил из дома посылку. Он шел уверенным командирским шагом по центральному проходу и почти торжественно нес коробку, намертво обтянутую скотчем. Накинулись без разрешения. Разорвали в клочья, достали все, что можно и нельзя: дезодорант, вареную колбасу, зефир в шоколаде.

– Да подождите вы, – просил Ципруш, но ждать никто не собирался.

Делили поровну, каждому по две. Ели быстро, чтобы не спалиться.

– А это чего? – не сразу понял Бреус, обнаружив на дне пачку презервативов.

Ципруш выхватил и спрятал в наружный карман хэбэшки. Весь красный и зеленый.

– Ты кого тут собрался? – хохотали солдаты. – Тебе зачем?

– Это, брат, – оправдывался Ципруш, – шуточки за двести.

Колбаса без хлеба улетела быстро, и ничего не осталось от домашнего подгона за каких-то полчаса.

Дневальный дал команду строиться. Повылетали на взлетку, запах гражданской еды кинулся вслед.

Сержант Горбенко от нечего делать проверял внешний вид. Смотрел чистоту подшивы, черноту берцев.

– Кантик почему не бритый?

Рядовой Манвелян бросил виновато, что не успел. И плечами дернул, подтвердив собственную беспомощность.

– А пожрать ты успел? – накинулся Горбенко. – Колбаса где?

С сержантом не поделились, не вспомнили даже. Захавали, как суки, честное слово. А того не проведешь – всевидящий и всезнающий. Настоящий, короче.

Наказать – святое дело. Форма одежды номер четыре. Пять километров по лесополосе. Бежали строем, дышали через одного. Бреус отставал, Манвелян говорил, что сдохнет.

– До блевоты будем! – не шутил Горбенко. – Чтобы знали!

Халявная жрачка не спешила выходить.

На третьем километре Ципруш сдался. Он встал, хватился за какой-то тополь и харкнул кровью.

– На месте! – скомандовал Горбенко.

Кровь живая и розовая, Ципруш – тоже живой, но бледный. Кое-как добежали, сержант не умел прощать, но верил в справедливость.

– Это жадность ваша! – говорил он. – Отравились вы, сучата! Вот теперь дохните.

Но никто, кроме Ципруша, не умирал. На вечерней поверке признался, что кружится голова и температура, кажется, и опять закашлял, оставив в сухой крохотной ладони смачную кровяную жижу.

В ленкомнате крутили кино с Джулией Робертс. Солдаты смотрели и не догадывались, насколько правильно устроена жизнь, как вовремя приходит то, чего не ждешь, но заканчивается, едва-едва. Любви хотелось до ужаса, сильнее только пельменей хотелось каких-нибудь и спать до обеда.

В лазарете дали таблетку от всего, пенталгин или вроде. В госпитале подтвердили, что пневмония. Двусторонняя.

– Ничего, – провозжали с завистью солдаты, – отдохнешь.

– Там телевизор, – рассказывал Бреус, – и медсестры.

Кровь розовая, а медсестра – белая. Одна медсестра. В халате.

Утром она говорила «Мальчики, подъем!», и нежно включала в палате свет, и не требовала ничего, кроме «поскорее, пожалуйста», «проходите, пожалуйста», и все такое. Ничего, кроме долгих провожающих взглядов.

– А как вас зовут? – спросил кто-то.

– Людмила, – сказала медсестра и улыбнулась по-человечески.

Ципруш, кажется, выздоровел сразу. Точнее, заболел. Под сердцем что-то сжималось и разжималось, как только. И полы сверкали, чистые-чистые. Мыл с удовольствием, лишь бы рядом покрутиться да подольше.

– Спорим, она мне даст?

– По морде разве что, – гоготали пацаны.

– Ну, спорим? Спорим?

Ципруш – не самый красивый, но добрый. Длинный какой-то, худой и несуразный. Обожал спорить и не любил проигрывать. Забили на две сигареты.

До темноты подмывался в туалете, нюхал подмышки. Дезодорант запрещен и остался в располаге, а тут лишь стиральный порошок. Натерся кристалликами «Мифа» или чего-то там, подышал в руку, убедился, что свежо. Молодой и счастливый, рядовой рядовой.

На вечерние процедуры пришел, как новенький. Черепушка бритая блестит, глаза горят духанские.

– Раздевайся, – сказала медсестра.

Не сказала даже – потребовала. Ципруш топтался на месте, не решаясь. Он как-то иначе представлял, не так вот сразу, по крайней мере. Но все равно потянул за края белуги, запутался в рукавах.

– Верх не обязательно, – заметила Людмила, – штаны снимай.

Ципруш кивнул и лег на кушетку. Перевернись, не бойся, опусти. Лежать на животе, когда такой – готовый к бою – тяжело и неправильно. Скрючился, ногу поджал. Неудобно, одним словом. Говорила – не слышал. Дышала – дышал.

Обожгло, кольнуло, защипало. И нога отнялась моментально.

– Вот и все, – хохотнула, – а ты боялся.

– Все? – не понял Ципруш.

Шприц одиноко лежал в урне и требовал уйти. Стоял, не решаясь. И нечего было стоять. Он ляпнул что-то очевидное, получил однозначное «нет». Прошло и отпустило. Один халат мелькнул на прощание, и закрылась дверь.

Телевизор показывал только Первый канал. Других не знали все равно, смотрели новости. Ципруш протянул пачку синего «Бонда» и проследил, чтобы взяли именно две.

– Не дала? – спросили.

– Не дала, – ответил и позвал на перекур.

В сортире привычно пахло, и коробка с порошком по-прежнему стояла за дверью. Ципруш пнул со всей дури, стало белым-бело. Чихать бы тут на все, да не может.

– Как думаешь, почему жизнь так несправедлива? – загался Ципруш и сам не понял, как докатился до этой абсолютной и безупречной истины.

– Потому что мы душары, – справедливо объяснили пацаны.

Открылась дверь, и в туалет зашла медсестра. Туалет мужской, но все равно зашла, как будто имела право.

– Мальчики, здесь нельзя.

Не мальчики, а дурачки. По крайней мере, один дурак, как минимум. Кто-то бросил сигарету в унитаз, кто-то успел стрельнуть в окно. Ципруш продолжил, не замечая. Он стоял, и пыхтел, и гордо подняв голову, наблюдал, как Люда разводит рука-ми, пробираясь сквозь плотную дымовую завесу.

– Я доложу в роту! – пыталась она. – Я буду вынуждена.

– Правильно говорить «во рту», – обидой заливался Ципруш и курил уже следующую.

На третьей перестал. Закашлял сухо и тяжело. Опять харкнул и, хватив кого-то за плечо, рухнул на холодный плиточный пол.

Принесли нашатырь, дотащили в палату. Молоденькая Люда, сама два дня как служит, смотрела растерянно и не знала, что. Она могла только делать уколы, ставить капельницы и не давать, когда по-настоящему просят.

В ленкомнате крутили кино с Джулией Робертс. Солдаты смотрели и не догадывались, насколько правильно устроена жизнь, как вовремя приходит то, чего не ждешь, но заканчивается, едва-едва. Любви хотелось до ужаса, сильнее только пельменей хотелось каких-нибудь и спать до обеда.

В условный отбой вернулись в палату. Люда по-прежнему сидела напротив Ципруша. Она гладила его по лбу, рукой водила по колючему ежику головы. Ципруш уверенно дышал, но изображал, что умирает.

«Голодный, наверное, – думала, – ну, ничего, ничего».

Мешать не стали. Вернулись к телевизору и молчали каждый о своем. Изредка пытались подслушать, хоть краешком глаза подсмотреть, что у них там, идут дела или не очень.

Только утром спросили:

– Ну как?

Ципруш махнул – отвяжитесь, что ли. Он улыбался и неторопливо собирал вещи: зубную щетку, бритвенный станок. В казарму шел живым и невредимым. Только ноги ватные, подошвой по асфальту, и непростительно жарко в законные тридцать шесть и шесть.

Попал на утренний развод. Попросил разрешения встать в строй.

– Чего это? – указал Горбенко, и Ципруш безо всяких протянул пакет, набитый по самое не хочу.

– Берите, товарищ сержант, угощайтесь.

Горбенко, рассмотрев колбасу и всякие там банки, одобрительно кивнул, но все равно потребовал приготовить к осмотру содержимое карманов.

Ципруш занял место, поздоровался со вторым и первым, поправил воротник и достал из хэбэшки все, что нужно для простой армейской службы: носовой платок, расческу, блокнот для записей. Нетронутая пачка презервативов сверкала в ладони, и вот-вот предстояло что-то объяснить.

